

И ПЕРЕПОЛНИЛАСЬ  
ЧАША



## ГЛАВА 1

Даже погода в том, 1942 году поблажек не давала. Уже с мая луга изнывали от летнего зноя. Высокая трава, размякнув на солнце, клонилась, сохла и никла до земли. Поодаль, над сумеречной котловиной пруда, курился тонкими полосками туман; да и сам дом, с его розовым морщинистым фасадом, сомкнутыми, словно над тайной, ставнями второго этажа и в изумлении отверстыми застекленными дверьми первого, — сам дом уподобился старушке, сомлевшей от прихлынувшей неопределенности.

Шел уже десятый час; уповая на прохладу, кофе накрыли в саду перед ступеньками крыльца, но свет был таким ярким, а воздух таким теплым, что казалось, стоит полдень и лето в разгаре.

— А ведь еще только май! — сокрушенно произнес Шарль Самбра. — Что же будет в августе?

И кинул прямо перед собой окурок; его короткий и неотвратимый полет как бы предвосхитил для Шарля их будущее, однако, откинувшись в кресле-качалке, Алиса Файат проводила взглядом летящую в никуда и на гравий горящую сигарету безо всякой тревоги, оттого что брошена она была могучим жестом. От темневшего на фоне вечернего света силуэта мужчины и его энергичного движения веяло жизнью, а никак не роком: чуть раскосые карие глаза, полные губы и мясистый нос Шарля

Самбра, хотя и обрамленные и оттененные на удивление черными и на удивление тонкими бровями и волосами, приличетствующими более женщине или какому-нибудь Валентино, не таили в себе, несмотря на несколько старомодный стиль ловеласа девятисотых годов, ничего тревожного, ни даже пророческого. Ни даже раздражающего, что удивительно, подумала Алиса. И правда, бьющее через край здоровье и жизнелюбие этого человека почему-то не раздражали ее своей несвоевременностью и слепотой, постыдными в том мае 1942-го. Даже если в принципе и возмущало ее полнейшее его безразличие к судьбе отечества, существовало определенное согласие, о каком и помыслить-то гадко, и в то же время разительное, очевидное между этим человеком и запахом его дома и луга, линией тополей, холмами, такое согласие, которое могло бы примирить — если бы она хоть на миг могла себе подобное представить — великолепные речи Петена, окрашенные в цвета национального триколора, и его же — «зеленые», о возврате к земле. Алисе на мгновение почудился степенный зычный голос старика, а за ним исступленный вопль маньяка, она заморгала, откинула голову назад и инстинктивно повернулась к Жерому.

Жерома, как видно, тоже сморило от запаха разогретой травы. Он закрыл глаза, светлые пряди волос едва различались на усталом, беззащитном, ранимом и напряженном лице. Жером... Ему она сегодня была обязана всем, включая и эту траву, и усеянное звездами небо, и неожиданную возможность расслабиться; всем, даже и тем безотчетным и сомнительным удовольствием, той безотчетной тоской, какую вместе со стыдливой робостью внушало ей сугубо мужское обаяние друга детства Жерома, этого Самбра, к которому они нагрянули в тот день безо всякого предлога, благо дружба в таковых не нуждается.

Она заморгала и тряхнула головой, чтобы привлечь внимание Жерома, и не сразу осознала, что он тоже дав-

но смотрит на нее широко открытыми глазами. По отношению к нему Алисе случалось впадать в эдакую близорукость, что представлялось ей проявлением не то ее собственного эгоцентризма, не то его, Жерома, легкого нрава. За спиной у них как-то по-чудному запела птица, и Шарль рассмеялся.

— Поет, как извозчик, — пошутил он. — Мне всегда кажется, что она ругается неприличными словами. Ведь правда? В ее руладах — ни романтики, ни изящества. Даже ярость какая-то слышится, и это меня смешит.

— Верно, — отвечала Алиса поначалу из вежливости, а после заинтересованно, так как замечание не лишено было меткости. — Может, это утренняя птица: сбилась со времени, вот и злится?

Да почему они здесь, она, Жером? Почему разглагольствуют о пении дурацкой птички с этим бедолагой, хозяином обувной фабрики в провинции Дофине?

— Я вас прескверно угощаю, — констатировал Шарль тоном, в котором не слышалось и тени беспокойства и оттого чуть ли не циничным.

Этому человеку, похоже, ни в коей мере не доступны стеснение и укоры совести, подумалось Алисе; но она, ненавидевшая самомнение и даже просто душевную успокоенность столичных и провинциальных фатов, зазнаек, самонадеянных весельчаков, почему-то улыбалась, вспоминая, как Шарль был ошеломлен и восхищен их появлением и как рискованно управлялся на кухне с нечаянной яичницей. С тех пор прошел уже час — целый час! — а отзвук его смеха лишал ее, по крайней мере на тот вечер, всякой способности критически мыслить. В сущности, он был попросту добрым парнем — редкое по тем временам качество, столь же старомодное, как и его наружность, но оно-то, во всяком случае, пригодится для осуществления ее с Жеромом планов. А в доброте Шарля Алиса не сомневалась: она читалась на его лице, угадывалась во всем

его поведении. Красивый мальчй, но сверх того еще и добрый. В точности как его описывал Жером. И снисходительность, которую она уловила тогда в голосе Жерома, вдруг показалась ей несправедливой и неуместной. В конце концов, будь этот Шарль Самбра хоть сто раз бабником, простаком, ограниченным материалистом, убаюканным в своей прекрасной Франции, он рисковал благодаря сегодняшним своим гостям в один прекрасный день оказаться поставленным к стенке или замученным палачами-садистами, сам не зная ради чего. И хотя недопустимо, недозволительно было объяснять ему, «чего ради», не удостоверившись предварительно, что данную цель он и они понимают одинаково, Алиса вдруг почувствовала себя бесчестной осквернительницей векового, священного гостеприимства... Она на мгновение ощутила себя волком в овчарне, но тут вдруг поймала неотрывно устремленный на ее собственное тело влажный взгляд карих глаз овечки по имени Шарль Самбра, и от этого взгляда она разом позабыла о своей роли большого злого волка.

— О чем ты говоришь! — запротестовал Жером. — Яичница была просто потрясающая. В Париже, дружок, такую с руками бы оторвали!

— Ты не преувеличиваешь? — спросил Шарль не без иронии. — Со снабжением, я думаю, все наладится, — добавил он. — Немцы, они, знаешь, чертовски организованный народ.

— Ты так полагаешь? — Голос Жерома звучал рассеянно, будто издали, и чуточку насмешливо.

Итак, он уже приступил к дознанию, устало подумала Алиса. Сразу к делу; не мог подождать один вечер, единственный вечер обойтись без всего этого? И сотни кадров, прыгающих, плохо освещенных, вереницей проплыли под ее опущенными веками: двери жалких гостиниц, темные улочки, перроны вокзалов, временные квартиры, едва распакованные чемоданы — грустные, грязные,

безымянные картины, мизерабилистские, с неизменными острыми углами, одним словом, картины Сопротивления, казавшиеся здесь, на этой округлой поляне, под выпуклым небом, на фоне волнистой линии тополей, еще чудовищней. На глаза у Алисы навернулись слезы. Зря они сюда приехали. Не следовало останавливаться, отдыхать, надо было бежать дальше, от угла к углу, от подъезда к подъезду, петляя, падая на ходу. Ни в коем случае нельзя было расслабляться здесь, где земля так покойна и кругла, в присутствии этого мужчины, у которого такая округлая шея, округлая и прямая, как те пресловутые березы и шеи, что описала одна чувственная женщина в своих изысканных романах. Шея прямая и загорелая под черными нестриженными волосами — волосами брошенного мужчины, подумалось ей вдруг.

— Шарль, вы не женаты? — спросила она чуть ли не с тревогой, скорее даже не спросила, а услышала свой собственный вопрос и покраснела в темноте, возненавидела себя смертельно за любопытство, за вопрос, который Жером, кстати, — намеком, третьего дня, — не советовал ей задавать, возненавидела еще и за свое глупейшее умиление, нелепое по отношению к этому жалкому провинциальному соблазнителю, с нескрываемым самодовольством безмятежно наслаждающемуся своей холостяцкой жизнью. К этому фабрикантишке, находившему, что немцы очень организованный народ, что Франция ест досыта, а ее, Алисы, тело весьма аппетитно. Полагавшему, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

— Жена меня бросила, — ответил Шарль, не глядя на Алису. — Она живет сейчас в Лионе. Я не очень хороший хозяин, но у меня есть Луи и его жена Элиза, она приходит стряпать каждый день, кроме воскресенья... потому что ужин и был таким отвратительным. Если бы вы меня предупредили...

— Помилуйте, — пробормотала Алиса, вжавшись в кресло, чтобы скрыть заливавшую ее лицо краску, — я ж не про яичницу, я...

— Я понимаю, — сказал Шарль, — понимаю прекрасно. — И улыбнулся смущенно, но как бы и поощряюще, что окончательно повергло Алису в смятение.

— Простите меня, — проговорила она, вставая, — я совсем засыпаю, говорю сквозь сон, не знаю, право. Ужин был великолепен, но я должна лечь, я с ног валюсь, поезд шел бесконечно долго. Двадцать четыре часа мы ехали, да, Жером?

Молодые люди поднялись словно по команде, однако Жером, неуклюжий, как всегда, зацепился за кресло, в результате чего Шарль, подтянутый и трепещущий, очутился возле Алисы первым — как в американской комедии, внезапно развеселившись, подумала она, наблюдая за двумя не сводящими с нее глаз мужчинами, и, чтобы скрыть смех, круто повернулась к дому.

— Я покажу вам вашу комнату, — сказал Шарль, — или нет, пусть это сделает Жером, он лучше моего сумеет вас устроить; к моему удовольствию, он знает мой дом, как я сам. — Шарль положил руку на плечо подошедшего к ним Жерома, который подоспел, прихрамывая. — Но к моему великому сожалению, он лучше меня знает, что вы любите, — добавил он с неожиданным и старомодным изяществом и, отступив на шаг, изогнулся перед Алисой, не прикладываясь, однако, к руке, в сухом и каком-то отстраненном поклоне, показавшемся вдруг молодой женщине гораздо более эротичным, нежели самое продолжительное и страстное целование рук. Желая сохранить самообладание, она улыбнулась ему в лицо и встретила взгляд его карих, таких мужских и таких ребяческих глаз, в сущности, взгляд животного, напроць лишенный как двусмысленности, так и наглости.

Такой взгляд, насколько ей помнилось, она видала только у охотников до женского пола; в ранней юности ей доводилось встречать на пляже мужчин, в которых все — и поведение, и взгляд — откровенно и невозмутимо говорило о безудержном желании обладать женщиной и выдавало скуку и глубокую неприязнь по отношению к собратьям по полу. Она знавала двух или трех подобных джентльменов, необыкновенно красивых, спокойных, воспитанных, сдержанных, иной раз совсем неприметных, из-за которых женщины умирали и кончали самоубийством, притом что никогда и никто, включая и самих страдалец при их жизни, не мог упрекнуть этих обольстителей в жестокости. Искушители эти не водили дружбы с мужчинами, их не влекли ни спорт, ни карты, ни другие пороки. Для них единственными обитателями планеты были, без сомнения, женщины: женщины, которых они любили и которых бросали, за счет которых иные из них жили — преспокойно, не зная стеснения и не корысти ради. Но только эта праздношатающаяся разновидность, подробно описанная у Колетт, давным-давно перевелась, а ее потомки, если таковые существовали, наверняка не изготавливали башмаков в окрестностях городка Роман.

— Нет-нет, — возражал Жером, — это твой дом — ты сам и покажи его Алисе. По-моему, ей придется по вкусу спальня в бледно-желтых тонах. Я зайду к вам через несколько минут, Алиса, — продолжил он, понизив голос, — пожелать вам спокойной ночи, если будет еще не слишком поздно и я вас не побеспокою.

Вместо ответа она улыbnулась. И, разомлев от усталости и неги, шагнула в разливавшийся по дому запах сушеных фруктов и воска, запах, который, она полагала, уже навсегда исчез из ее жизни. Вслед за Шарлем, который церемонно и безмолвно выступал впереди нее нето-

ропливым шагом, заложив руки за спину, будто гид или агент по недвижимости, она прошла через большую залу, по-видимому гостиную, где на полу красовались шкуры пантеры с протертыми боками и стеклянными глазами, а по стенам — косо повешенные, сочащиеся киноварью портреты; затем через вестибюль, потом по лестнице, где дремали не потревожившиеся при их появлении охотничьи собаки. Потом наконец она достигла порога огромной квадратной спальни, по стенам которой вяли крупные розовые цветы, вымученные и блеклые, обрамляя широченную, накрытую стеганым одеялом ручной работы кровать, предназначенную для роженицы или для медового месяца. Но поначалу она увидела только полыхающий жарко, словно в разгар зимы, огонь в камине и бросилась к нему. И еще Алиса, больше всего на свете любившая живой огонь летом, распахнутые двери балконов зимой и купание в озерах под осенним дождем, бросила на хозяина дома — рикошетом, через зеркало, висевшее над камином, — заинтригованный взгляд: после ужина он отлучился всего на несколько минут, и, оказывается, именно для того, чтобы развести огонь, и именно в той комнате, которую Жером рекомендовал Алисе в самую последнюю минуту. Шарль смотрел на нее, она видела его силуэт у порога — видела отражение, — его подтянутую фигуру с заложенными за спину руками и, главное, взгляд, неторопливо скользнувший по комнате, окнам, огню, кровати, блистающему паркету, взгляд собственника, пресыщенного знатока, — этот взгляд остановился на ней, не изменив своего выражения до тех пор, пока не встретил в зеркале ее собственный: тут он моргнул. Она резко обернулась, в смущении и раздражении оттого, что он подсмотрел, как она за ним подсматривает, в приливе враждебности и даже злобы при мысли о том, что их заранее разработанные планы и шуточные прогнозы Жерома оказались

такими верными, а его советы — излишними. И еще злило то, что теперь, когда она в кои-то веки рассчитывала быть полезной и желала этого, отведенная ей роль выходила такой незначительной или, по крайней мере, так мало от нее зависящей. В ней закипал старинный, давно позабытый гнев, извечный бунт женщины-вещи; желание этого мелкого буржуа, собственника, безмятежно-счастливого, довольного своей мебелью, своими домами, фабриками, любовницами, его взгляд, осмеливающийся и ее заранее причислить к предметам первой необходимости и роскоши, неожиданно привели ее в бешенство. Стой он ближе, она б его ударила. Но Шарль Самбра, не говоря ни слова, точно кто его предупредил, предостерег, широкими шагами пересек комнату, распахнул окно, раскрыл ставни и, высунув голову наружу, не оборачиваясь даже, произнес: «Глупость, конечно, но вы непременно должны это увидеть: сегодня, знаете, полнолуние. Потрясающее зрелище. Не забудьте посмотреть и загадать желание. И воздухом подышать», — уже ретировавшись к двери, добавил он, точно они весь вечер провели в подвале, а не в саду.

Алиса Файат заснула сразу после его ухода, позабыв и взгляд, и зеркало, и как она попала в эту комнату. В середине ночи, полупроснувшись, она вспомнила только крупного мужчину с большими руками, широким жестом распахнувшего ставни в черноту листвы, вырисовывавшейся на трепещущем темно-синем небе. И еще вспомнила, что на секунду мир пошатнулся от его руки, его голоса, смеха, его скромности и что она сама, Алиса, пошатнулась вместе со ставнями и опрокинулась в Млечный Путь, в тихую ночь, в сон и безопасность. Они с Жеромом уже год как скрывались. Весь этот год она боялась и презирала себя за это. И вот теперь, стоя на скрипучем полу сельской спальни и слыша, как шуршит в ночи гра-

вий под мохнатыми лапами собак, она на мгновение за-  
была, как хрустит гравий под сапогами и как однажды на  
рассвете захрустит, быть может, и здесь.

— Твоей приятельнице, похоже, дом понравился, —  
сказал Шарль, усаживаясь в кресло напротив Жерома:  
в опустившемся сумраке он различал теперь только его  
вытянутый силуэт, блеск глаз и белые руки, но он знал  
на память его угловатое тело, бледные глаза и волосы  
и чересчур тонкие черты лица. Все, вместе взятое, делало  
его в глазах Шарля таким же неприглядным, как и любо-  
го другого мужчину.

— А как тебе понравилась моя приятельница? — спро-  
сил Жером.

Шарль так и остолбенел. С того самого дня, когда он  
отвел Жерома, пребывавшего тогда еще в девственности,  
в публичный дом — кстати, это произошло на той же не-  
деле, когда Жером отвел Шарля, уже тогда прозябавше-  
го в невежестве, в Лувр (и надобно признать, что позна-  
ние женщин сильнее сказалось на жизни одного, нежели  
открытие живописи — на жизни другого), — с того давне-  
го времени они ни разу словом не перемолвились о сво-  
их многочисленных победах; в особенности Жером — он  
никогда не искал одобрения Шарля, тем более что Шар-  
лю девушки друга казались очень скучными, хотя и кра-  
сивыми. И надо же, чтобы именно теперь, после пяти-  
летней разлуки, когда он привез к нему прекраснейшую,  
наихеланнейшую, единственную существующую отны-  
не для Шарля женщину, чтобы именно в этот вечер Же-  
рому вздумалось поинтересоваться его мнением! В пер-  
вую секунду Шарль чуть было не выложил всю правду,  
едва-едва у него не сорвалось: «Алиса создана для меня,  
она моя, она мне нужна, я хочу ее, я ее люблю. Я жажду ее  
обольстить — хуже того, я жажду оставить ее себе. С тво-  
ей стороны было безумием привозить ее сюда. Пусть

у меня только один шанс из ста, я все равно попытаю счастья». Однако он промолчал. Не из осторожности — из суеверия. Ведь он и сам не знал, на чем основан этот шанс, единственный из ста. Шарль, надо сказать, не слишком рассчитывал на свою внешность, вот уже более пятнадцати лет беспроигрышно приносившую ему успех. Он знал, что нравится женщинам, но это представлялось ему чем-то вроде справки о здоровье или временной визы, позволявшей ему исследовать страну, но не обосновывавшей в ней постоянно. Полагая, что все мужчины уродливы, он воображал, что может нравиться женщинам только веселым нравом и умением наиполнейше разделять с ними физические наслаждения, каковые ставил превыше всего. Словом, красота его была исполнена такой скромности, что ненавидеть его не представлялось возможным. Те редкие женщины, которых он не желал, а также мужчины, которым принадлежали все прочие, даже и не помышляли в чем-либо упрекать Шарля Самбра. В разговорах с ним они выказывали эдакую снисходительность, пренебрежение, легкую рассеянность — мстили ему таким предельно пошлым, но и предельно осторожным способом за внимание, которое оказывали ему прочие женщины. Понемногу Шарль Самбра привык считать себя не слишком умным или, во всяком случае, считать, что ум не входит в число его основных достоинств; он безотчетно от этого страдал, словно от некоего безобидного увечья, над которым посмеиваются окружающие и которое вы сами за собой с улыбкой признаете, но которое иной раз причиняет вам неизъяснимую боль.

Жером хорошо знал в Шарле эту скромность тела и ума и, возможно, потому долгие годы терпел и даже любил его общество.

— Алиса неотразима, совершенно неотразима, — в конце концов ответил Шарль невыразительным голо-

сом и после паузы, которая им обоим показалась затянувшейся, — Жером даже слегка заерзал в кресле, забеспокоился, вспомнив вдруг, что Алиса, несмотря на всю свою утонченность, все-таки женщина, а женщины, даже самые утонченные, редко остаются безразличными к Шарлю.

— Ну а как твое производство? — ни с того ни с сего спросил Жером, чем снова поверг Шарля в недоумение. Все, что касается производства, всегда вызывало в Жероме глубокое отвращение или по меньшей мере наводило глубокую скуку. Это была одна из редких запретных тем в их беседах.

— Кожа, знаешь, нынче...

Он как будто оправдывался, и это насмешило Жерома.

— Скажи, Шарль, ты по-прежнему сомневаешься в своих деловых качествах? И все так же сомневаешься в своих интеллектуальных способностях?

— От меня их, знаешь ли, никто никогда не требовал, — ответил Шарль. — Разве что ты, когда пытался заняться моим образованием. Но это было давно.

Он закурил сигарету, обратив взгляд на Жерома, и тому показалось, что из темноты на него устремлены печальные и добрые глаза несмышленного животного. Жером даже на мгновение растрогался. Все, что говорил или делал Шарль, радушие, с каким он их принял, его веселый нрав, все его поведение подтверждали и даже полностью совпадали с той картиной, которую Жером рисовал Алисе, подготавливая ее к встрече. Жером заметил, как улыбалась Алиса, сличая описание с действительностью, и даже почувствовал себя чуть ли не виноватым, что глупо, в конце концов, ведь если для Шарля не существует иных запросов, кроме тех, что диктуются темпераментом, и иных устремлений, кроме собственного благополучия, то представить его красивым, обходительным

и посредственным ничуть не пошло. Пошлой была реальность, пошлым был Шарль, и он, Жером, тут ни при чем.

— Ты умный, Шарль, но живешь среди кретинов — где ж тут сохранить интеллектуальные способности? У тебя всегда были одни и те же дружки: лионские бармены, здешние лекари, всякие там игроки да бабники. Ты все так же неразборчив, старина.

— А ты все так же высокомерен? — прервал его вдруг Шарль, да так резко, что Жером прикусил язык. Как это он забыл, что вялому, умиротворенному и, казалось бы, неглубокому уму Шарля случалось блистать вспышками интеллекта и иронии?

Так или иначе, Жером в тот вечер менее всего собирався выяснять отношения: он нуждался сейчас в дружбе Шарля и его поддержке, ему важно было не потерять в нем друга и приобрести сообщника.

— Не сердись, — сказал он. — Я неправильно выразился. Я не вкладывал ничего уничижительного в слово «неразборчив».

— Вкладывал, — ответил Шарль. — И я тоже вкладывал, когда говорил «высокомерен». Но мы же всегда друг друга в этом обвиняли, так что бог с ним, поговорим о чем-нибудь еще.

Наступило молчание, потом Жером рассмеялся своим неуверенным, смущенным, юношеским смехом, а Шарль подхватил с величайшим облегчением — не потому, что дорожил мнением Жерома о себе — оно было ему глубоко безразлично, — а потому, что безрассудная ярость закипала в нем и росла с каждым часом, с каждой минутой, пока он смотрел на белобрысого мужчину, студента-перестарка, который сейчас поднимется и ляжет — неизбежно, неминуемо — в белоснежную постель Алисы. Прикоснется к ней, обнимет, разбудит. Вот этот мужчина, сидящий в двух метрах от него и называющийся его

другом, ляжет на ее такое гибкое, такое тонкое тело и станет целовать ее серые-пресерые глаза, черные-пречерные волосы и, главное, губы, красные-прекрасные. Губы, обрисованные четкой каймой, будто бы запружавшей в них наполняющую их кровь, приливы и отливы которой делали их такими красными и полными.

Шарль знал, что если он прижмется губами к этим полным губам, то почувствует, как в них, точно в сердце — незнакомом, независимом и бешено стучащем, — бьется теплая, соленая и сладкая кровь этой женщины. Да, он ненавидел Жерома. Уж лучше б он их сразу выставил вон из своего дома, порога бы переступить не позволил, нежели ввергать себя в ночные фантазии и видения, на которые он теперь обречен. Выставить их сейчас мешала ему отнюдь не давняя дружба и не воспитание, а надежда, безумная надежда, смертельное желание самому в один прекрасный день очутиться с Алисой на этой кровати под стеганым одеялом ручной работы. Если бы когда-нибудь ему представилась такая возможность, он, Шарль, не стал бы рассиживать со старым приятелем и лепетать банальные фразочки. Он давно был бы уже наверху, склонился бы над своим двойником, своей женой, сестрой, дочерью, любовницей, возлюбленной. Он не сидел бы здесь, не разглагольствовал бы о всякой ерунде с чужаком, убогим калекой, короче — с мужиком.

Желание его, по всей вероятности, было заразительным: Жером потянулся в кресле, демонстративно зевнул, распрямил колени. Он собирался встать, и Шарль отчаянно искал способ его задержать: политика, ну разумеется, только политика! Жером, несомненно, был за или же против Петена, а учитывая, что Петен воплощал установленный порядок, — скорее всего, против, даже наверняка.

— А что ты думаешь о Петене? — спросил Шарль.

Спросил беспечным тоном, откинувшись в кресле и не глядя на Жерома из опасения, что тот застигнет его врасплох и разгадает. Не утратив охоту делать глупости, Шарль не перестал, однако, заботиться о том, чтоб они оставались незамеченными. Разменяв четвертый десяток, он даже начал всерьез об этом беспокоиться. И так, не видя Жерома, он почувствовал, как тот расслабился, снял руки с подлокотников, уселся поплотнее. В то время как Шарль радовался своей находчивости, Жером радовался своему терпению. Наконец-то он узнает, как эволюционировали взгляды Шарля.

— По правде говоря, я ничего особенно хорошего о нем не думаю. А ты? — спросил он осторожно.

— Не так уж он плох, не так уж плох, — заговорил Шарль, обретя вдруг бодрость и словоохотливость. — Да, да, я нахожу, что он вовсе не плох, — в общем-то, он избавил нас от худших бед.

Жером заставил себя дышать размеренно; такого рода разговоры ему приходилось выдерживать в Париже последние два года и уже года три-четыре выслушивать, что Гитлер, в сущности, просто истинный немец, заботящийся о благе своей страны; временами он даже опасался, что в один прекрасный день не вынесет и вцепится в горло кому-нибудь из таких собеседников. Изрекавшие эту чушь — кто по невежеству, кто из лицемерия — заботились в первую очередь о собственном благополучии и душевном покое, что больше всего и возмущало Жерома.

— Стало быть, ты считаешь, что наша беда не так велика? — спросил он, сдерживаясь и даже силясь изобразить заинтересованность.

В ответ Шарль повел рукой, словно призывая взглянуть на дом, луга и холмы, на себя самого, стройного и сытого, на все, что он сохранил в неприкосновенности

и что радовало глаз, несмотря на потоки крови, заливавшие Европу.

— Ну я, как ты знаешь, живу в свободной зоне, — сказал он, — возможно, здесь все иначе. А что такого ужасного творится в оккупированной? Я слышал, что германцы ведут себя пристойно.

— Бывает, в самом деле, что кто-нибудь из них уступает место старушке в автобусе, — отвечал Жером, — и все не нарадуются, и все переглядываются, будто поздравляя друг друга с тем, что выбрали хорошего оккупанта. А в это самое время их тайная полиция, СС, гестапо забирают без разбору евреев и коммунистов и отправляют всех скопом, включая женщин и детей, в лагеря, откуда никто не возвращается.

Шарль подметил, что Жером говорит чуть срывающимся, севшим от негодования голосом, и убедился, что избрал правильный путь — так он, глядишь, продержит Жерома до рассвета. Если действовать осторожно, не заходя слишком далеко, он имел на то все шансы.

— Ты говоришь «никто не возвращается», а на самом деле просто еще не вернулись — следует, видимо, подождать окончания войны. Существует еще Англия и, слава богу, Соединенные Штаты, и другие тоже вмешаются. Не будут же они, в конце концов, сидеть тут всю жизнь, — парировал Шарль, тоже вдруг с раздражением. — Ты сам посуди, они ж не могут жить в двух странах одновременно: дома их ждут жены, надо делать им детей для фюрера, а они будут целую вечность околачиваться в Париже и Версале?

— Я думаю, что будут, вообрази. Они уже отняли детей от материнской груди, поместили их в свои специальные школы, откуда юноши выходят строем — и напрямик в армию, сменять старших на поле боя и в оккупированных городах. Охранники наши, так сказать тюремщики,